

ДИНА
РУБИНА



Маньяк Гуревич



МОСКВА
2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р82

Оформление серии *Натальи Ярусовой*
В оформлении переплета использованы
фрагменты работы художника
Бориса Карафелова

Рубина, Дина.
Р82 Маньяк Гуревич / Дина Рубина. — Москва : Эксмо,
2023. — 448 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-191211-6

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «жизнеописание в картинках» — в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче начиная с раннего детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи», не высиживая героев на котурнах, чем грешит сейчас так называемая серьезная премиальная литература. При этом в романе Дины Рубиной есть и глубина переживаний, и острота ощущений человеческого бытия.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-191211-6

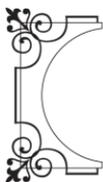
© Д. Рубина, текст, 2022
© Оформление. ООО
«Издательство «Эксмо», 2023

Владимиру Гамерову

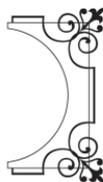
Мысль написать такую вот светлую и тёплую книгу о трогательном, хотя и нелепом в чём-то человеке пришла мне в начале тягостных месяцев проклятой пандемии. Я вдруг поняла, что читателю и так тяжело дышать, и так тесно жить; что его и так сейчас сопровождают болезни, горести и потери; читатель инстинктивно ищет в мире книг такое пространство и такую «температуру эмоций», где он мог бы не то что спрятаться, но войти и побыть там, легко дыша, пусть и грустя, но и улыбаясь.

Я поняла, что не хочу навешивать на своего читателя вериги тяжеловесных трагедий и — главное — не хочу убивать своего героя. Нет, пусть, сопереживая ему, читатель вздыхает, смеётся и хохочет — так же, как мы сопереживаем, читая прозу О’Генри, Гашека или Джерома, — хотя знаем, что жизнь человеческая полна разного рода невзгод и даже смертей. Я намеренно создавала образ человека любящего, трогательного, порядочного, а на каких-то поворотах судьбы отчаянно смелого и даже странного, отчего он не раз заслуживает от окружающих прозвище: «маньяк».

Дина Рубина



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДЕТСТВО ГУРЕВИЧА



РОДИМАЯ ОБИТЕЛЬ...

Семья была врачебная, и это определяло всё — от детских игр до трагической невозможности нашёлкать градусник до тридцати восьми. Но с мамой и не забалуешь: резкая, властная, она каждому воздавала по заслугам и мнения при себе не держала: если сделал что-то умно и ловко, это у неё «нормально». Если плохо, пеняй на себя. Спросит только: «Ты идиот или прикидываешься?» «Нет, я не прикидываюсь», — возражал торопливо сын. Перед мамой всегда хотелось немедленно оправдаться.

Работала она в женской консультации № 18 при Октябрьской железной дороге. Проводницы, буфетчицы, билетёрши и контролёрши — весь женский железнодорожный состав — были её пациентками. Всё трудные советские судьбы, израсходованные советские тела.

«Суть маминой профессии, — заметил как-то папа, — увы, далека от поэзии».

«Суть твоей профессии, — немедленно отбила мама, — поэтичной тоже не назовёшь».

Папа, врач-терапевт, работал в психиатрической больнице. Был он красавец, романтик, член Пуш-

кинского общества; всего Пушкина знал наизусть, а взятки брал только книгами.

Работали оба на полную ставку, и потому маленький Сеня рос, как трава, — по телефону. Родителей видел редко, но слышал почти постоянно:

— Почисть картошку... Почистил? Порежь её кубиками, и с ножом там осторожней, без idiotских штук... Теперь набери в кастрюлю воды, примерно до середины...

Одной рукой мама держала телефон, а что там делала другой рукой, можно только вообразить. Как и многие медики, родители не слишком заморачивались иносказаниями, обсуждая при сыне трудные врачебные случаи, так что поначалу смутно, затем всё детальнее Сеня представлял панораму их профессиональных будней.

Когда сын простужался или выходил на каникулы (то есть когда маячил перед ним худосочный призрак мало-мальской *свободы мысли и воображения*), мама говорила: «Балду пинать?! Нет уж, дудки!» — и забирала Сеню с собой на работу. Там она его нагружала каким-нибудь медицински полезным делом: выдавала почковидный тазик, полный щепками, и Сеня эти щепки строгал перочинным ножиком. Затем наматывал на них тонким слоем вату — получались палочки для вагинальных мазков.

Мальчик трудился, он любил простую артельную работу: сиди-строгай, двумя пальцами вытягивай из комка ваты тонкую дорожку, наматывай её, думай о чём хочешь. Это и есть *свобода мысли и воображения*.

Веер вагинальных палочек в металлическом стакане — привычная с детства картина...

...Бывало, и папа брал его с собой на работу, и это было куда интересней.

Городская психиатрическая больница № 6 размещалась на территории Александро-Невской лавры. Сеня с папой выплывали из-под земли, от метро брали вправо, переходили Невский у самого-самого последнего дома и по узкой дорожке (серый зернистый асфальт, щербатые поребрики) шагали между некрополей в ручейке очень странных людей: семьящих старушек в чёрном, юношей с распущенными, как у русалок, волосами, мужчин в длинных чёрных платьях.

Давным-давно папа объяснял, что дамские мужики — это священники, а патлатые юнцы-русалки — их студенты.

Дальше — мост через речку Монастырку, и вот она, Лавра.

Летом за воротами Лавры очень красиво: всюду розы, розы... В их спутанной багряно-белой волне утопли всеми позабытые (даже буквы стёрлись!) могильные камни.

Но ручеёк чёрных старушек, женщин в косынках, длинноволосых юношей струился дальше, к самому сердцу Лавры — Свято-Троицкому собору. На православные праздники здесь собирались толпы верующих. Мощный и невесомый одновременно, он царил над купами деревьев, над мраморными и каменными надгробиями, над речкой и кустами-цветами...

Папа никогда не упускал случая втемяшить сыну какую-нибудь историческую или архитектурную дребедень: «Видишь, — говорил, — шлем купола тяжёлый, лежит на подпорке такой с шестнадцатью окнами, называется «барабан». У папы спра-

шивать что бы то ни было просто опасно: тебя занесёт пургой непонятных слов, сам не рад будешь, что спросил. И от стихов не отобьёшься, заужужит роем пчёл:

Когда великое свершалось торжество
И в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и пресвятая дева
Стояли две жены...

Как это — две жены? Бабушка Роза говорит, что порядочный человек худо-бедно обходится одной женой. Вот у папы худо-бедно — мама, у деда Сани — бабушка Роза. Может, кто-то шустрый хапнет сразу двух жён и хвастается: а у меня, мол, их целых две, не худо и не бедно!

Их путь пролегал через всю территорию Лавры. Если не слишком торопились, они заглядывали в любимый уголок: от стены храма влево бежала дорожка к заброшенному кладбищу. Здесь в центре позабытого всеми некрополя высилась башня: тоже всеми заброшенная и позабытая, грустная заколоченная церковь. Обойдёшь её, а там — спуск к совсем уж деревенской речке, где плавают утки, а в высокой сочной траве по берегам — брызги жёлтых одуванчиков. И шмели гудят, и зеленовато-белых капустниц ветерок носит, как на даче. Прямо не верится, что это — центр города.

Среди старинных склепов, каменных ваз и крестов с выбитыми на них полустёртыми буквами можно ходить часами, осторожно пробираясь между надгробиями.

— Не наступай на могилы, — каждый раз напоминал папа, — уважай покой мёртвых. *Решётки, столбики, нарядные гробницы, Под коими гниют все мертвецы столицы...*

А вот главное: над изгибом речки, на откосе стоит полуразрушенный склеп с башенкой — окна запылённые, в паутине, кое-где даже разбитые. Сказочный домик крепко уснувшей, да так никем и не разбуженной Спящей красавицы.

Но под решётки окон кто-то подсовывает маленькие пластмассовые розы; иногда придёшь — а там новые. Это усыпальница Анастасии Вяльцевой, старинной певицы такой. Папа рассказывал, что до революции к её ногам *бриллианты бросали*, слава гремела по всей России, а умерла она совсем молодой, от чахотки. Мама говорит, тогда все от чахотки умирали: ноги промочил, вот тебе чахотка. Ну и забыли её совсем, тем более что романсы уже не в моде. Хотя приходит же кто-то, цветы приносит...

Однажды зимой они видели протоптанную в снегу тропинку. Там у склепа человек стоял — бородатый, *особенный*, голову так задумчиво склонил. Красиво и печально, как на старой открытке, Сеня даже засмотрелся. «Ладно, — сказал папа, — пошли, не станем человеку мешать, пусть скорбит. ... *чтоб долго образ милый Таился и пылал в душе моей унылой...*»

Сеня спросил: «Он её возлюбленный?» — «Ты спятил? — удивился папа. — Все её возлюбленные давно в земле сырой...» Ей-богу, папа так и выразился, причём всю жизнь, посреди обычного рабочего дня. «Тогда чего скорбеть», — подумал Сеня.

Словом, Лавра — это была беспредельно-отдельная страна внутри города, которую они проходили из конца в конец, пока на задворках не упирались в глухой забор и неприметную железную дверь *папиной психиатрии*. Когда-то — духовное училище, ныне — жёлтый дом, психушка, это здание обособленно и угрюмо стояло среди высоких деревьев.

В наши дни, в эпоху террора школьных психологов, подобные посещения ребёнком сумасшедшего дома выглядят по меньшей мере возмутительными. Но Сенино детство протекало в открытом и любознательном мире прилюдных драм и мордобоев, трагических судеб, увлекательных похорон, весёлых поминок и распахнутых во все стороны детских глаз.

Сумасшедший дом был пристанищем людей необыкновенных. Папа называл их больными, но Сеня приглядывался к каждому, подмечая крошечные... ну совсем чуть-чутные признаки притворства. В целом тут была спокойная, даже задумчивая обстановка: люди в пижамах двигались медленно, обстоятельно, казались погруженными в свои мысли. Впрочем, изредка кто-то кричал, как раненая птица, и тогда все остальные замирали и прислушивались. А того, кто криком пытался прорваться за пределы этого мирка, *брали в ординаторскую*.

— А что там с ним делают? — беспокоился Сеня. — Наказывают?

— Ну что ты, милый, — отвечал папа. — С ним беседуют. Если надо, добавляют лекарств...

Здесь у папы был свой кабинет с самой спартанской обстановкой: письменный стол, стул, кушетка, кардиограф и шкаф с историями болезней. Дверь без

ручки закрывалась на «психиатрический» ключ, окно было забрано мощной решёткой.

Но за окном... Там росли старые клён и берёза. Стояли в страстном переплетении ветвей так тесно, так близко, будто муж и жена, прожившие целую жизнь: артритные, скрюченные, вечно вместе, так что и не разобрать, где кто, они будто противились расставанию. Осенью клён становился розовым, потом загустевал багрянцем и пламенел, а берёза плескалась прозрачным и звонким золотом. Окно волновалось и вскипало золотом и багрецом, комната преображалась, и сама радость вскипала и ломилась в окно, торжествуя и чего-то настойчиво требуя.

Но Сене и зимой совсем не скучно было крутиться здесь целый день: он *был на подхвате*. И понимал, насколько это серьёзно: это вам не вагинальные палочки строгать.

Папа осматривал соматических больных, делал кардиограмму, потом расшифровывал её с помощью циркуля; Сеня же собирал разбросанные по всему кабинету ленты кардиограмм и вкладывал в истории болезней. Почерк у папы был совершенно невозможный, и потому он диктовал сыну даты и фамилии больных, а тот писал их на карточках крупно-разборчиво.

В присутствии ребёнка папа, конечно, принимал только *спокойных больных* — их приводили санитары. Это были замедленные, слегка потерянные люди в застиранных халатах без пуговиц и кушаков. «Почему?» — спросил как-то Сеня. «Пуговицы сожрут, на кушаках повесятся», — ответил папа. Никогда Сеня не понимал: шутливо или грустно папа объясняет такие вот ужасные вещи. Пока он беседовал с пациен-

том, а тот кутался в халат, покачиваясь на стуле, как метроном, Сеня скашивал глаза на тумбочку с историями болезней и вычитывал из открытой страницы нечто малопонятное, но завораживающее:

«Психический статус: двигательно беспокоен, тревожен, ходит по палате взад-вперёд, с опаской озирается по сторонам. Даёт о себе некоторые анамнестические сведения, но не датирует основные события своей жизни, не помнит, когда окончил школу. Говорит с напором, повышает голос, речь приобретает характер монолога. Родителей считает неродными: “они только притворялись, а квартиру дал лично Сталин”. Темп речи ускорен, суждения непоследовательные, противоречивые. Сообщил врачу, что “знает 18 иностранных языков, а понимает ещё больше, имеет 6 высоких предназначений”. Понижает голос, прикладывает палец к губам, со значением смотрит на врача и шёпотом произносит: “Чтобы ОНИ не услышали”. Критики к высказываниям нет».

Больше всего Сеня любил, когда папа слушал больных. Иногда папе так нравились какие-то хрипы в лёгких, что он подзывал сына, вставлял ему в уши стетоскоп и просил больного глубоко дышать. Больной старательно дышал, глядя на мальчика послушными медленными глазами, а папа спрашивал: «Ну? Что ты слышишь?» — и сердился, если Сеня не слышал ничего.

Словом, детство Сеня провёл между женской консультацией и психбольницей, строгая шепки для вагинальных палочек или разглядывая психов.

Это отразилось на его дальнейшей судьбе: Сеня всю жизнь любил и оберегал женщин, но работал с сумасшедшими.

* * *

Он рос болезненным ребёнком, и не как другие хилые ленинградские дети, а экстремально болезненным. Папа говорил, что Сеня — не человек, а медицинский случай и в этом качестве его непременно надо вставить в учебник по педиатрии. Всеми хворями, какими нормальные дети болеют по одному разу, Сеня болел трижды. Дорогуший профессор Тур — растерянные родители приглашали его, когда сын заходил на третий круг с какой-нибудь ветрянкой — стоял над мальчиком, опухшим, или покрасневшим, или покрытым волдырями, и говорил: «Этого не может быть!». «Но вот же он перед вами!» — восклицала мама чуть ли не с торжеством. Своим жалким существованием этот ребёнок буквально разорял семью.

Между тем мама никогда не брала денег со своих пациенток. От конфет не отказывалась, конфеты были валютой: их передаривали учителям, врачам и нужным людям в жилищно-эксплуатационной конторе. Конфеты быстро уходили, но иногда возвращались к дарителям — как корабли, помятые штормами, возвращаются из кругосветного плавания в старые доки.

Однажды кто-то из гостей подарил маме роскошную коробку конфет цвета спелого граната с тиснёной гирляндой золотых роз. Когда гости ушли, мама глянула на срок годности и вздохнула: этот корабль надо было списать три года назад. Она была сурова во всём, что касалось свежести любого продукта. «Коробка знакомая... — пробормотала мама. —

Смутно знакома мне эта коробка». И перед тем как выбросить, в неё заглянули из любопытства; к тому же Сеня любил серебристые и золотистые листы пухлой бумаги, что покрывали ряды конфет. Он делал из них голубей; запущенные с третьего этажа, те сверкали на миг под небом двора-колодца, поймав солнце на острое крыло.

В коробке поверх седых от времени конфет лежала поздравительная открытка «С днём Восьмого марта!». «Точно, — сказала мама. — Это мои конфеты, я их дарила Сильвии Платоновне пять лет назад».

Ленинград всегда был городом голодным и холодным: фрукты — только на рынке, да за бешеные деньги. Но доктор Гуревич, мама то есть, наладила поставки через благодарных пациенток: фрукты-овощи ей доставляли проводницы поезда Ленинград — Одесса.

Само собой, мама за всё платила, но стоили эти фрукты — трёшка ведро. Да и не в этом дело. Что за яблоки были там, что за персики! Черешня — с детский кулак! А вишня, кровавая россыпь вишни! А пунцовые помидоры «бычье сердце» — они разве что не пульсировали в ведре!

За два-три дня дороги фрукты созревали, потом наливались, потом слегка подплывали... и начинали мироточить и пахнуть, как сам слегка подгнивший, слегка подплывший райский сад.

Недели на полторы их коммунальная квартира пропитывалась сладкой истомой зрелого августовского рая. Неподготовленный субъект, ступив на порог, просто падал навзничь с застывшей улыбкой.

«Жрите, идиоты, пока всё не испортилось!» —

кричала мама. И Сеня с папой наваливались на фрукты. Спорить с мамой — себе дороже. Велено жрать, значит, надо подналечь и исполнить.

Оставшееся «закручивали»...

Это было прекрасно, но и ужасно: с приближением сезона Сеня с папой начинали тосковать в покорном ожидании своей рабской участи на плантациях домашней консервации. Мама загодя покупала трехлитровые банки, отдельно, где-то по благу доставала крышки с тонкими резиновыми ободками по внутренней кайме. Стекло тара кипятилась в тазу-на газу...

Огромными щипцами банку обхватывали за горло, вынимали из кипящей воды и ставили на растеленные чистые полотенца. Мама — в фартуке, с волосами, убранными под косынку, — была очень уместна в этом производстве: будто, стерилизуя банки для консервации, применяла профессиональные навыки: наложить щипцы на головку ребёнка и вытащить его из обессиленной материнской утробы. Сеню сажали выковыривать из вишен косточки. Мама вручала ему шпильку, и налаженным движением мальчик ловко выуживал косточку, слегка надавливая на кругляш ягоды.

(Да, он с детства любил простую артельную работу, она освобождала мысль, запускала чудесную шарманку его пылкой, папа говорил — *маниакальной фантазии*. Странно, что в дальнейшей жизни он занимался самым, ну, самым неартельным делом!)

Затем из кладовки выплывал жутковатый механизм: машинка для закатывания овощей и фруктов. Эта штука (сбоку — ручка) насаживалась на банку, и ручку крутили. Три-четыре оборота... и горловина банки оказывалась в плену удавки!

Лет сорок спустя Гуревич опознал, как родную, точно такую штуковину: в Кордове, в Музее инквизиции, в средневековой камере пыток.

Словом, это была фабрика по закатке овощей и фруктов. Сезонное производство зимних запасов на одну маленькую семью: по сорок банок расставлялось на полках кладовки. Но глубокой осенью и зимой...

О, в холодные тёмные дни эти драгоценные слитки солнечного света являлись из кладовки и открывались с почтительной нежностью, источая благоухание садов далёкого юга. Из золотого сиропа вынимался персик или черешня, ломтик груши или айвы, сливы или яблока, даря простуженному горлу и вечно заложенному носу неопишемую сладость и аромат райских угодий.

* * *

Дом стоял примечательно: во дворе кинотеатра «Молния» на Петроградской стороне. Квартира коммунальная, но малосемейная. Помимо Гуревичей в ней проживали Курицыны — дядя Паша, тётя Надя и сын их Юрка, по кличке Курицын Сын, ровесник младшего Гуревича. Третью комнату занимала милейшая и добрейшая Полина Витальевна, от которой, тем не менее, никакого продыху не было: во-первых, она вечно толклась на кухне, пекла свои пироги, во-вторых, по-соседски приглядывала за мальчиками, когда те возвращались из детского сада, а потом и из школы. Им обоим она была нужна, как собаке пятая нога: мальчики дрались, мирились, бились об заклад, ругались и снова дрались... словом, отлично ладили!

Это Полина наябедничала маме, когда младший Гуревич, окончательно изведённый Курицыным Сыном, пустил тому в глаз струю через замочную скважину. И то было не нападением, а хитроумной защитой: Юрка весь день стрелял в него водой из какой-то мерзкой резиновой пищалки. Незаметно подкрадывался, окликал и, когда сосредоточенный на игре Сеня оглядывался, прыскал тому водой прямо в морду. В конце концов разъярённый и мокрый Сеня погнался за ним по коридору, чуть не сбив с ног Полину Витальевну, а Юрка заперся в их комнате и ни на какие уговоры и клятвы *пальцем не тронуть* дверь не открывал.

Тогда Сеня приволок из прихожей пачку старых газет, перевязанную бечёвкой, вскочил на неё и спустил штаны — плевать на Полину с её дурацкими пирогами! «Хорошо, — сказал Сеня, — положим, ты идиот и не веришь, что я — благородный. Чёрт с тобой. Просто хотел тебе кое-что показать. Охренительное... Можешь сидеть там хоть тыщу лет, хоть до Нового года, глянь только в скважину».

И Юрка купился, как курицын сын! Как только он запыхтел за дверью, прилаживая глаз к скважине, Сеня тоже прилажился... и врезал ему острой струёй прямо в глаз!

Это был второй случай, когда мама отлупила Сеню скакалкой. Между прочим, чувствительно: скакалка-то резиновая. Сын орал для проформы, папа же кричал по-настоящему — от жалости, спасти пытался. У папы любимое слово было: «образумься!».

Если кто думает, что скакалка Сенина, так это чушь собачья: что он, девчонка — прыгать через верёвочку? Она была маминым спортивным инвентарём с тех пор ещё, как мама пыталась сбросить

пару кило и по утрам в воскресенье усердно и тяжело себя вздымала: сначала на одной ноге, потом на другой, затем обеими. Но однажды кто-то из нижних соседей явился спросить, что происходит и почему цирковой бегемот гастролирует именно по воскресеньям, когда люди хотят всего лишь выспаться, к чёртовой матери? И мама угомонилась...

* * *

Комната у Гуревичей была необъятная, сорокаметровая, с дворцовой высотой потолков — метров пять. Восхищение гостей милостиво принимала голландская изразцовая печь с медной дверцей. Белая королева, поверху она была украшена зелёной лепной короной под самый потолок.

Ещё им в наследство достался от предыдущих неизвестных жизней, возможно, и с царских времён, могучий дубовый стол на резных слоновьих ногах — абсолютно неподъёмный. Потому его здесь и оставили, говорила мама, силёнок не хватило вынести.

Стол драгоценный был — для Сени. Если снизу подлезть, на исподе столешницы обнаруживались длинные потайные ходы и сложные извилины, похожие на ласточкино гнездо. В них Сеня много чего хранил: солдатиков, три пустые бутылочки из-под коллекционного коньяка; наворованные впрок конфеты «Золотой ключик» и срезанную с шубы Курицыной мамы большую зеркальную пуговицу, в которую можно было смотреться, как в кривое зеркало в парке аттракционов, строя рожи и шёпотом дразня того, кто оттуда пялится, «кромешным идиотом». Сокровищницей тайн, вот чем для мальчика был обеденный стол с потайной изнанки.

Время было скромное, рукодельное, игрушки берегли годами, латали-подновляли и почитали, как дряхлых родственников. Под диваном хранился картонный ящик от давней посылки, и в нём отдыхали, ожидая выхода к игре, всего пять-семь персонажей. И все были милыми и родными, все — с огромным опытом в партизанских войнах и диверсиях, в предательстве и шпионаже, в диких набегах, в *сумасошлатой* любви, с последующими грандиозными свадьбами и похоронами. У всех Сениных игрушек была жестокая судьба на разрыв сердца, с каскадом невероятных трагедий!

Грустный Медведь переходил от одного поколения родственников и знакомых к другому, за ним тянулся шлейф имён, как за немецким аристократом, но каждый следующий ребёнок придумывал ему какое-то своё имя, так что со временем, пообтрепавшись, мишка просто стал Грустным Медведем.

Он пережил падения и взлёты, голод, блокаду, эвакуацию в Самарканд с маминной двоюродной сестрой; возвращение уже с новым хозяином, её младшим братом, — так как сестра подросла, в десятом классе влюбилась в комсорга школы и сделала тайный аборт, который необъяснимым образом лишил её права на плюшевого друга. Грустный Медведь попадал в различные передряги, гордился рваной (и зашитой) раной в боку; Сеня и сам иногда его оперировал под наркозом, тщательно зашивая хирургический разрез.

Все его проплешины и боевые ранения были скрыты под белой вязаной безрукавкой с двумя зелёными пуговичками на плече. И об этой безрукавке можно писать роман, не сходя с этого места!

Пятьдесят лет назад она была связана папиной бабушкой для новорождённого дяди Пети, папиного старшего брата, а после Пети пошла по дальнейшим поколениям детей. Её тронула моль, её многожды штопали, много стирали. Последним из теплокровных её носил до полугода сам младший Гуревич, и уж только потом её передали в вечное пользование Грустному Медведю.

Другими обитателями картонного ящика были уважаемые ветераны, задиры и дуэлянты: два Петрушки из аэропортовского сувенирного киоска, одетые в косоворотки и жёлтые атласные штаны, обутые в настоящие крошечные лапти. Сеня сам их обшивал, облакая матерчатые туловища в потребные действию одежды. Это был достойный гардероб: красная ряса кардинала Ришелье, мушкетёрский плащ с большим крестом на спине. Перед смертельным поединком в правую руку каждого вставлялась использованная медицинская игла — и это были шпаги:

«Сударь, я отправлю вас ко всем чертям прямо в ад!!!».

«Возьмите свои слова обратно, сударь, не то я воблю их вам прямо в глотку!!!».

В дуэльном угаре мушкетеры-Петрушки втыкали шпаги в матерчатые тела друг друга, умирая страшной смертью! Затем воскресали...

Был ещё взвод оловянных солдатиков штамповки такого качества, что лица у них ничем не отличались от затылков. В сущности, это были грубые куски металла. Но при наличии фантазии тут открывалось поле поистине бесконечных сюжетных возможностей.

Папа говорил, что у Сени маниакальное воображение; что он не чувствует грани между игрой и реальностью; что, в сущности, он постоянно прописан в своих фантазиях, не желая возвращаться назад, в *просто жизнь*. И потому ему будет трудно существовать *в социуме*. Папа говорил это не Сене, а маме, когда думал, что сын уже спит. Но Сеня не спал. Он играл сам с собой в войну злых и добрых пиратов. Надо было лежать вмертвецкую, чтобы обмануть злых. Эх, жалко: если б удалось протащить в постель столовый нож, то ночью можно было бы заколоть маму или папу, злых пиратов. Что такое *социум*? Где это? Если там такая же деревянная уборная с вонючей дырой, как в Вырице, даром ему этот социум не нужен!

«Ребёнок как ребёнок, — отозвалась мама раздражённым шёпотом. — Я тоже бог знает что выдумывала в детстве!»

* * *

И вот как-то Сеня играл себе и играл. У него был чемпионат мира по бегу на четвереньках вокруг стола. Паркетный старинный пол совсем разошёлся, кое-где из него даже щепки торчали, так что Сеня предусмотрительно привязал к обеим коленкам думки с дивана. В забеге участвовала прорва команд со всех концов земного шара. За Чехию на диване сидел Медведь, за Англию под диваном валялся Петрушка-Ришелье... Сеня бегал за всех, замеряя результат по секундной стрелке синего будильника. Когда бежал за Америку, слегка замедлялся. Зато Советский Союз побеждал во всех видах забега!

В разгар игры из своей психбольницы вернулся папа.